

**БИНОКЛЬ***Рассказ*

Одной из самых красивых в мире вещей – наряду с маминой брошью и женским профилем, вырезанным из чёрной бумаги, вложенным в овальную рамку и спрятанным в предпоследний зал краеведческого музея – одной из самых красивых, самых таинственных и притягательных в мире вещей для Оли был белый театральные бинокль, через который она вместе с Наташей рассматривала соседские дворы и палисадники.

Гремя стремянкой, взвизгивая и смеясь, девочки забирались на чердак, устраивались у маленького квадратного окошка, протирали его – не успевшее запылиться – салфеткой и по очереди смотрели в бинокль, комментируя увиденное.

– Трофимов мастерит табурет, – говорила Наташа, и девочки долго наблюдали за тем, как архивариус троллейбусного депо Трофимов – высокий худой старик с коричневыми усами – сидит, скрючившись, на пороге своего сарая и стучит молотком по трёхногому табурету, выживая гвозди из карманов рабочего халата, роняя их в траву и шаря по ней ладонью. Архивариус хотя бы раз в неделю мастерил по табурету, и казалось, что в доме у него ни для какой другой мебели места хватать не должно.

На чердаке пахло опилками и пылью, по углам белела паутина. Громоздились друг на друга коробки и ящики, свёртки и тюки. Между тюками возвышались башней напольные часы с маятником – много лет не работающие и неизвестно как тут оказавшиеся – рядом блестел звонком трёхколесный Наташин велосипед. Золотые лучи – вылазки чаще всего происходили по вечерам – с готовностью били в окошко и рассекали чердак надвое, рисуя на противоположной стене жёлтый прямоугольник.

Солнце краснело, куталось в лиловые облака, клонилось к дальним крышам, и прямоугольник менял свой цвет – а потом бледнел и гас. На округу опускались сумерки, всё уплывало куда-то, крыши, заборы, кроны деревьев сливались друг с другом и таяли. В домах по одному загорались окна, старик Трофимов ещё несколько раз взмахивал молотком – по дворам разносился негромкий глухой стук – разгибался, подхва-

тывал табуретку и брёл к крыльцу; загорался, наконец, уличный фонарь – и зоркий взгляд бинокля перебежал от одного источника света к другому. Вот чья-то кухня: холодильник, плита с синими огоньками конфорок; вот мерцает сквозь тюль квадратный экран телевизора. Вот под плафоном фонаря выются, сталкиваясь и бросая на землю неясные мелькающие тени, майские жуки. Вот в конце улицы – чтобы увидеть, нужно приоткрыть окошко, вдохнуть сладкий вечерний воздух – догорает костёр, и под рыхлым белёсым дымом алеют угли. А вот покачивается в одном из дворов голая круглая лампочка – выхватывает из сумерек то блестящий бок теплицы, то пышную клумбу. Возле каждого огонька – своя жизнь, свои приметы и тени и даже свой, особенный свет. И чем сильнее сгущаются сумерки, тем ярче горят окна и фонари, тем они загадочнее и волнительнее.

Но гостить у Наташи допоздна Оле разрешалось нечасто – только в те дни, когда отец возвращается из Москвы и может захватить за ней по пути с вокзала. Тогда она издали видела, как появляются у перекрёстка огни фар и плывут по дороге, танцуя на кочках, увеличиваясь, как они, наконец, останавливаются, вытягивая широкие лучи, напротив дома, а потом и нутро автомобиля освещается, и за бесчисленными сумками, коробками и пакетами, видно отца.

И потом, сидя на заднем сиденье, стиснутая позвякивающими свёртками, Оля оборачивалась и видела, как блестит в свете фонаря квадратное чердачное окошко – и ей казалось, что это блестит прекрасный театральный бинокль.

Бинокль Наташа тайком таскала из бабушкиной комнаты, из старого массивного, во всю стену, шкафа. И бинокль был действительно чудесным – белым, блестящим, точно керамическим, с жёлто-фиолетовыми выпуклыми линзами в медных ребристых дужках и шестиугольным колесиком, которое так приятно крутить и от которого зависит, можно ли будет рассмотреть каждый уголок догорающего костра или все они сольются в светящееся облачко.

«Очень дорогая вещь», – говорила Наташа строго, и больше всего на свете Оля

боялась уронить бинокль – и всё равно однажды уронила, когда по её голому плечу пробежал невесть откуда взявшийся паук. Оля взвизгнула, уронила бинокль и тут же с ужасом схватилась за голову, зажмурилась – как и Наташа. Бинокль оказался цел, на линзах не обнаружили ни царапины – но несколько минут сердце у Оли колотилось так, что, когда внизу скрипнула дверь комнаты и Наташина бабушка взволнованно окликнула девочек со словами: «Что у вас там за грохот?», можно было решить, будто она имеет в виду грохочущее Олино сердце.

– Ничего! – крикнула Наташа. – Всё хорошо!

В тот вечер было за чем наблюдать – местные мальчишки раздобыли где-то большую деревянную бочку и по очереди забирались в неё, закрываясь крышкой. Потом они придумали укладывать бочку набок, один заползал внутрь, закупоривался, а остальные с улюлюканьем катили его по дороге. Наконец, бочка, проскакав по ухабам и подняв облако пыли, останавливалась, из неё вываливался совершенно счастливый пассажир, на заплетающихся ногах ходил кругами, осматривал колени и локти и просился обратно, но в тёмное нутро уже полз на четвереньках следующий.

Мальчишки катали бочку до самого вечера – и Оля уже спускалась по ступеням крыльца, толкала калитку и шла вдоль палисадников к перекрёстку, с которого виден был её дом, а на улице всё раздавались восторженные крики.

Если смотреть было не на что, девочки начинали фантазировать.

– По Ново-советской катится карета, – сообщала Наташа и протягивала бинокль Оле.

Оля смотрела на пустую Ново-советскую, по которой трусила, опустив нос к земле, дворняга, и видела роскошную карету, запряжённую четверкой белоснежных лошадей. Из-под колёс, из-под копыт, сверкающих подковами, вылетали камни, дворняга испуганно шарахалась в сторону, возница в широкополой шляпе с перьями подпрыгивал и высоко вскидывал вожжи.

– Но!

Звенели колокольчики, из кареты звучала, заливаясь, скрипка.

Скрипка звучала на самом деле – Наташина бабушка готовила ужин и слушала радио.

– Что там? Что? – шептала Наташа.

– Едут к замку.

Вдали, над зеленым морем из крон и крыш – весной крон, казалось, было больше, а к осени море мельчало, треугольные утёсы крыш обнажали склоны – вставал, сверкая на солнце, величественный замок – горели всеми цветами витражи, на шпилях развевались флаги, по стене ходили туда-сюда часовые, по красной черепице скользили закатные блики. На высоком крыльце видны были фигурки трубачей.

– Дай, дай, – восклицала Наташа и тянула бинокль к себе.

Замок растворялся, и море из крон теперь выглядело сиротливо. Карета тоже растворялась, и ничто не мешало дворняге бежать по середине дороги – и только скрипка продолжала играть. Оля смотрела на переливающийся в солнечных лучах бинокль и в щель между окуляром и Наташиной скулой видела, как светятся у той глаза.

Наташа восхищённо вздыхала.

Дома тоже был бинокль – охотничий, купленный старшим братом в прошлом году, ещё до армии. Этот бинокль смотрел дальше, к глазам прижимался плотнее, и колёсико имел не одно, а целых три, но он был тяжёлый, громоздкий, угольно-чёрный и совершенно отказывался блестеть на солнце – и поэтому сквозь него нельзя было увидеть ни замка, ни кареты, и даже старик Трофимов со своими табуретками или майские жуки, выющиеся у фонаря, под его взглядом казались скучными и неинтересными.

– Ну купи ты ей бинокль, – смеясь, говорила мама отцу. – Неужели в Москве – и бинокля не найти? И выключи, будь добр, телевизор, надоел ужасно.

По телевизору только и говорили, что о предстоящем конце света, о рубеже тысячелетий, о молекулярных уровнях и стихийных бедствиях. Мама штудировала бухгалтерские журналы, щёлкала калькулятором и аккуратным почерком исписывала несколько толстых тетрадей одновременно – вела бухгалтерию.

– Вы же двадцать второго поедете? – спрашивала она отца. – Забеги в антикварный какой-нибудь.

Ночью с двадцать второго на двадцать третье отец вернулся из Москвы и привёз Оле шкатулку с павлинами – обитую изнутри синим шёлком, на маленьких изогнутых ножках, тяжёлую и холодную.

– Нету биноклей, – развёл он руками. – Только шкатулки и сабли.

Шкатулка была очень красивая – но с биноклем сравниться не могла. Кроме того, дома была уже одна шкатулка – она тоже стояла на ножках и тоже была обита шёлком – правда, красным – а по крышке вместо павлинов танцевали цветы. В ней хранились мамины украшения – в том числе чудесная брошь, которая одна – вместе с вырезанным из бумаги профилем – всё же могла составить биноклю конкуренцию.

Брошь мама нашла, ныряя в море, ещё в Новороссийске, до переезда и Олиного рождения – одного камешка в ней не хватало, его заказывали ювелиру отдельно, и Оля провела немало времени, вглядываясь в калейдоскоп из сине-зелёных граней, складывающихся на свету в причудливые узоры.

– У каждой леди должна быть своя шкатулка, – сказала мама, отрываясь от тетрадей и растирая красные, усталые глаза. – Вот и у тебя теперь есть.

Наташе шкатулка тоже понравилась.

– Старинная, – протянула она восхищенно.

Но потом на цыпочках прокралась в бабушкину комнату и вышла, прижимая к груди бинокль, – и про шкатулку тут же забыли.

Спустя неделю или две отец снова уехал в Москву – и снова обещал заглянуть к антиквару – а Оле разрешили остаться у подружки допоздна.

Только вот с погодой не задалось. День был пасмурный, серый, море из крон волновалось от ветра. Мальчишки побежали на соседнюю улицу пускать змеев – и здорово было смотреть в бинокль на то, как показываются из-за крыш белые тоненькие прямоугольники – становятся на дыбы, проваливаются, кувыркаясь, выпрыгивают снова и набирают высоту. Лучший из змеев взмыл над домами, встал почти вертикально и точно через силу, туго и непослушно, пополз над улицей, постепенно снижаясь. Потом ветер усилился – и в чердачное окно посыпались царапинами мелкие капли. Змеи – даже самый лучший – пропали и больше не появлялись.

На улице и во дворах было пусто, облака потемнели, нависли угрожающе.

– Трофимов мастерит космический корабль, – протянула задумчиво Оля, глядя на пустой двор архивариуса, по которому метался подхваченный ветром пакет.

Наташа взяла бинокль.

– Действительно, – согласилась она. – Деревянный космический корабль.

Ветер засвистел в водосточной трубе, пакет перелетел через забор, набрал высоту и, надувшись, закружился над улицей – и кружился так, пока не спикировал в один из дворов. Дождь усилился, слышно было, как он барабанит по шиферу на крыше. В небе, под самыми облаками, сновали стрижи.

– Внутри залез, – сообщила Наташа. – Сейчас взлетать будет.

Оля взяла бинокль и стала смотреть на стрижей.

– Взлетел, – вздохнула она. – Набирает высоту...

Дождь обрушился ливнем, загрохотал по крыше, улица растворилась в серебряном мареве. Стрижи бросились врассыпную.

– Всё, – сказала Оля, – скрылся в облаках.

По облакам прокатились глухие раскаты грома.

Оля повела бинокль вниз, в сторону, но из-за дождя ничего нельзя было рассмотреть – в пелене вспыхивали, загораясь, пятна окон, но очертания их таяли и дрожали. Вдобавок ко всему по стеклу ручьями побежала вода. Море из крон побледнело и слилось во что-то сплошное, неясное, готовое в любой момент растаять без следа.

– Наташа! – раздался откуда-то издалека встревоженный голос. – Гроза! Спускайтесь!

Оля отняла бинокль от глаз и посмотрела на подружку.

– Спускайтесь! – снова позвала бабушка. – Чай будете?

Наташа оценивающе посмотрела на окно.

– Идём! – крикнула она сквозь грохот.

Оля согласно кивнула.

Внизу было не так шумно, куда теплее, и из кухни пахло пирогами.

– Я сейчас, – шепнула Наташа и бросилась с биноклем к бабушкиной комнате.

Бабушка выглянула из кухни.

– Заходи, Оля, – пригласила она. – А Наташа где?

Она вышла, сделала несколько шагов и оказалась на пороге своей комнаты. Оля увидела, как вытянулось ее лицо, услышала смущённый Наташин смешок и на всякий случай проскользнула в коридор.

Наташина бабушка была очень строгой – и Оле очень не хотелось услышать, как она ругается. Она боялась, что и ей достанется – и что – она холодела при этой мысли – о бинокле придётся забыть. Она с тоской поглядывала на оставленные у двери босоножки и

думала, что если сейчас Наташина бабушка попросит её уйти – а она обязательно попросит! и посмотрит при этом холодно, свысока, поджав свои и без того тонкие губы – что тогда она обязательно промочит ноги и сама вся промокнет без зонта, и непременно заболит, и придётся лежать дома под двумя одеялами, пить горькие лекарства и полоскать горло календулой.

Но больше всего ей было жаль бинокля.

Однако прошла целая минута, а её никто не просил уйти – и даже не было слышно Наташиного плача, хотя Наташе только дай повод пореветь, и ревет она в голос, так, что через улицу слышно.

Оля наблюдала однажды, как бабушка ругала Наташу за разбитую солонку – и как Наташа голосила при этом, точно её бьют.

«Наверное, это ещё хуже, – думала Оля, – что она там молчит».

Но в следующее мгновение Наташа вышла в коридор – красная, но не заплаканная. Она посмотрела на Олю и подмигнула. Следом вышла Наташина бабушка с биноклем в руках.

– Идите есть, – устало сказала она. – Театралы.

Оля покосилась на босоножки и пошла вслед за Наташей – вслед за Наташей шагнула в горячую, ярко освещённую кухню, вслед за ней вымыла и вытерла жёстким вафельным полотенцем руки, вслед за ней села за квадратный, застеленный скатертью, стол, примостившись в углу, у шкафчика с посудой, стиснула ладони между коленей и стала искоса наблюдать за тем, как бабушка хлопчет перед распахнутой раскалённой духовкой, разливает по чашкам кипяток из посвистывающего, брызгающего чайника.

Бинокль теперь лежал на столе, и в его жёлто-фиолетовых линзах, напоминающих плёнку мыльного пузыря, отражалась, сворачивалась и изгибалась кухня – вместе с бабушкой, Олей и не перестающей заговорщически подмигивать Наташей.

Со стороны улицы по подоконнику колотил дождь, заурчал, усилился и прогремел что есть мочи над самым домом гром. С этой стороны на подоконнике – на вязаном коврикe – стоял радиоприёмник, едва различимо играла какая-то музыка.

– Копаться в чужих вещах – отвратительное качество, – говорила бабушка, выставляя дымящиеся кружки на стол и с тревогой глядя на окно. – Но я не понимаю – почему нельзя было просто попросить?

Она подвинула бинокль и опустила на середину стола блюдо с пирогами. У Оли под ложечкой засосало.

Наташа виновато опустила голову.

– И давно вы этим занимаетесь? – бабушка села за стол напротив Оли, двумя пальцами подхватила пирог, положила на блюдец перед собой и усмехнулась. – С тех пор, как повадился на чердак?

Наташа опустила голову ниже, но украдкой посмотрела на Олю и опять подмигнула.

– Хватит подмигивать, – вздохнула бабушка и повернулась к Оле. – Не съем я вас, не бойся. Бери пирог.

Оля осторожно взяла пирог, обожглась, уронила на блюдец.

– Но копаться в чужих вещах, – строго повторила бабушка, глядя на Наташу, – недопустимо.

Наташа театрально кивнула и потянулась за пирогом.

И какое-то время сидели молча, слушали дождь, пили чай. Оля, наконец, смогла справиться с пирогом, он разломился пополам, и из красного, с комочками ягод, крошечными чёрными косточками, нутра дохнуло жаром. Прогремел с треском, точно над кухней раскололась надвое крыша, гром, бабушка приподняла занавеску и сделала радио громче.

В кухне было жарко, даже душно, пахло тестом и кофе – бабушка пила густо-чёрный кофе – Оля обжигалась и от чая, и от пирога, сидела на неудобной деревянной табуретке, и всё же ей было очень хорошо – она украдкой смотрела по сторонам, в щель за занавеской видела тёмную, сотрясающуюся от ветра листву, и всё время возвращалась взглядом к белому биноклю, который снова лежал в самом центре стола и поблёскивал перламутровыми боками. В боках его тоже отражалась кухня – вытягивалась, опрокидывалась дугой.

– Надо же, – усмехнулась бабушка, прислушиваясь к радио. – И как раз гроза.

Свист скрипок сливался со стуком дождя, и казалось, что стучит тоже из радио.

Бабушка задумчиво посмотрела на бинокль, протянула к нему худую руку с длинными пальцами и узким бледным запястьем.

– Когда-то я с этим биноклем не расставалась... – проговорила она. – Столько он видел...

Она посмотрела на Олю и кивнула.

– Я ведь болела театром. Не пропускала ни одного серьёзного спектакля.

Оля улыбнулась, не зная, что сказать, разломив ещё один пирог, и из него на ска-терть упала большая красная капля.

– Простите, пожалуйста, – пробормо-тала она, промокнула пятно предложенной салфеткой и спросила, чтобы не было так неловко. – А сейчас?

– Что сейчас?

Оля кашлянула.

– Сейчас – театр?

Бабушка рассмеялась и махнула рукой.

– Какой сейчас театр! – она покачала головой. – Тем более здесь.

Она поднесла бинокль к глазам и за-глянула в него, а когда отняла, взгляд у нее был ещё задумчивее, точно сквозь линзы она увидела что-то кроме огромного блюда с пирогами.

– Н-да, – вздохнула она, возвращая бинокль на стол.

Она вдруг вскинула голову, взгляд прояснился.

– А ведь у меня и программки оста-лись! – она посмотрела на Наташу. – Ната-шенька, дружок, принеси из книжного шка-па, из самого низа, где подписки, мой аль-бом.

– Красный? – спросила Наташа.

– Красный.

И пока Наташа искала альбом, Оля всё поглядывала на бабушку, а та, придерживая занавеску рукой, смотрела в окно. Скрипки затихли, а дождь всё так же колотил по-прежнему, но гром уже не гремел. После не-долгого молчания приёмник тихо запел женским голосом, вокруг которого защёлка-ли помехи, означающие – Оля знала – что запись проигрывается на граммофоне. Ба-бушка сидела неподвижно, смотрела в окно, и её вытянутое лицо с тонкими губами, вы-соким лбом и острым подбородком свети-лось под лампой. Бледно-русые волосы сплетались в тугий пучок, мочку уха оттяги-вала блестящая серёжка.

Вбежала Наташа и водрузила на стол тяжёлый альбом в красной картонной об-ложке. Бабушка оторвалась от окна, отпу-стила занавеску и – отодвинув от себя пустую чашку – раскрыла альбом посередине, стала медленно перелистывать, подхватывая стра-ницы за уголок.

Оля допила чай и вытянула шею.

Альбом был заполнен фотографиями – в основном, чёрно-белыми. Между ними по-падались аккуратно сложенные листы, кон-верты, газетные вырезки с иностранными заголовками.

– Это вы? – спросила Оля неожиданно для себя самой, увидев большую – во всю страницу – фотографию, и тут же смутилась – на фотографии, конечно же, была изобра-жена актриса.

На худой конец – певица.

– Я, – улыбнулась Наташина бабушка.

Она отодвинулась и посмотрела на фо-тографию так, как смотрят на картину – вы-ставив подбородок чуть вперёд, прищури-вшись – а потом приподняла альбом и повер-нула его к Оле.

С фотографии Оле улыбалась, чуть поджав губы, девушка невероятной красоты. Густые чёрные волосы, осыпанные пря-дями, были собраны к макушке и схвачены причудливым гребнем, тонкую белую шею украшали два ряда полыхающих бус.

Оля смутилась.

– Не верится, – усмехнулась бабушка, поворачивая альбом к себе. – Вот и мне то-же... Известный фотограф, хоть в рамку и – на стену.

И она с видимым усилием перевернула страницу, продолжила листать.

Оля прислушалась – дождь успокаив-вался.

– Вот, – бабушка пригладила разворот альбома ладонью и стала вытягивать из ши-рокого конверта тонкие пожелтевшие букле-ты, раскладывая их на столе, вокруг бинок-ля. – Вот Мариинский... Вот Александринка. А это БДТ...

Почти все буклеты были узкие, одно-цветные, напечатанные на тонкой бумаге с вохристыми сгибами. Сквозь бумагу просве-чивал спрятанный на обороте текст, уголки кое-где были замяты треугольниками. Оле показалось, что она чувствует запах старой бумаги – как пахнет старая бумага, она знала по огромным, строгого вида, собраниям со-чинений в отцовском шкафу. «Каменный цветок», «Гамлет», «Спартак» – Оля пере-водила взгляд с одного выцветшего заголов-ка на другой, вчитывалась в незнакомые фамилии, натыкалась на указания года и прикидывала, сколько лет было в этот год её родителям, сколько лет оставалось до её ро-ждения, а в самом центре стола лежал, как ни в чём не бывало, бинокль, лежал и бле-стел перламутровыми боками, отражал в своих линзах кухню, и невозможно было по-верить, что он и эти хрупкие, тонкие про-граммки – из одного времени, как нельзя было поверить в то, что Наташина бабушка была когда-то красавицей с фотографии.

– Да, – вздохнула бабушка, бережно раскрывая одну из программ, – театр!

Наташа, по-видимому, знакомая с содержимым альбома, скучала, покачивалась на стуле, положив ладони на скатерть, и, когда бабушка стала возвращать программки в конверт, подмигнула Оле, похвалила пироги и встала.

– Да берите, берите, – отмахнулась бабушка на умоляющий взгляд, и Наташа схватила бинокль. – Только, девочки, пожалуйста, – бабушка посмотрела на Олю, – не разбейте.

Оля кивнула, поблагодарила за угощение. Наташа уже гремела стремянкой в коридоре.

После кухни казалось, что на чердаке – холодно. Ещё сильнее пахло опилками, и было совсем темно – только из коридора в квадратный проём плыл неяркий свет. По шиферу ещё стучал дождь, но уже устало, из последних сил.

– Я эти программки, – сказала Наташа, устраиваясь у окна и поднося бинокль к глазам, – наизусть выучила. «Испанские миниатюры» – шестьдесят седьмой, «Блудный сын» – семьдесят четвертый.

Оля удивилась – почему не рассказывала прежде? Но спрашивать не стала. Она смотрела на подругу и пыталась угадать, будет ли та похожа на бабушку? Будет ли такой же красивой? И хотя все говорили, что Наташа похожа на мать, приезжающую из Петербурга не чаще четырёх раз в год, теперь ей казалось, что Наташа обязательно станет такой, как бабушка, и у неё тоже будет чудесная фотография, которую «хоть в рамку и – на стену».

– Вижу Трофимова, – сообщила Наташа, глядя куда-то вверх. – Заходит на орбиту, собирается снижаться.

За окном было темно, очертания домов расплывались, из-под фонаря сыпался косыми искрами дождь, в палисадниках перед теми из окон, в которых горел свет, блестели мокрой листвой кусты сирени и шиповника. Море из крон едва заметно раскачивалось. У горизонта небо ещё было бледно-синим, но на его фоне вставала высокая ровная стена облаков – густо-чёрная – опоясывала крыши, уходила далеко в сторону. Над ней в самом центре синей полосы светилась яркая, крупная, похожая на драгоценный камень, звезда.

Оля взяла бинокль, запрыгала от фонаря к фонарю, от окна к окну, поднялась к

звезде, но её бинокль увидеть чётко не мог и смотрел как сквозь туман.

– Трофимов снижается, – проговорила Оля задумчиво. – Высунулся в иллюминатор и машет рукой.

Трофимов долго снижался, кружил над двором, боясь задеть теплицу, и наконец, сел, оборвав бельевую верёвку. Тут же он принялся разбирать космический корабль – «чтобы не привлекать внимания» – а когда перетащил почти все доски в сарай, перекрыток озарился светом фар, и Оля стала собираться домой. Наташина бабушка вручила ей бумажный кулёк с пирогами, а потом они обе – и бабушка, и Наташа – стояли в дверях и ждали, пока Оля, прикрыв макушку ладонью, втянув голову в плечи, бежит к машине, протискивается на заставленное сумками сиденье и машет рукой.

– В антикварном был, – сходу сообщил отец. – Шкатулки и сабли, сабли и шкатулки.

Он наклонил широкое зеркало, и Оля увидела его смеющиеся – хотя и усталые, с тяжёлыми тёмными веками – глаза.

– Тебе сабля не нужна? – спросил он, делая голос серьёзным.

Перед сном Оля долго лежала в кровати, прислушивалась к вновь усилившемуся дождю, смотрела на бледную щель между шторами и представляла себе театр – залитую светом сцену, тяжёлые красные кулисы, бархатные спинки кресел с металлическими номерами, причудливые гребни, бусы, веера, бинокли, платья, костюмы, овации и летящие из зала цветы. Актёры выходят на сцену, кланяются, держась за руки, посылают зрителям воздушные поцелуи, с балконов кричат восторженно, сверкают молниями вспышки огромных фотоаппаратов. И засыпая, проваливаясь в зыбкую неровную тьму, Оля была уверена, что всё это ей сейчас приснится, что вот-вот заискрятся вокруг неё огни, зашумит публика, вздохнёт скрипками оркестр.

Но проснувшись ранним утром в светлой, зеленовато-жёлтой от сияющей сквозь шторы листвы, комнате, под разливающимся за окном птичий щебет и шум воды, разговоры родителей, доносящиеся из кухни, подтянув горячее одеяло к щеке и глядя на комод, по которому плыли, дотягивались до шкатулки с павлинами и таяли широкие золотые лучи, пробившиеся из-за штор, она, как ни старалась, не могла вспомнить – снилось ей что-нибудь этой ночью или нет.